

Абрахам
Вергезе
Завет
Воды

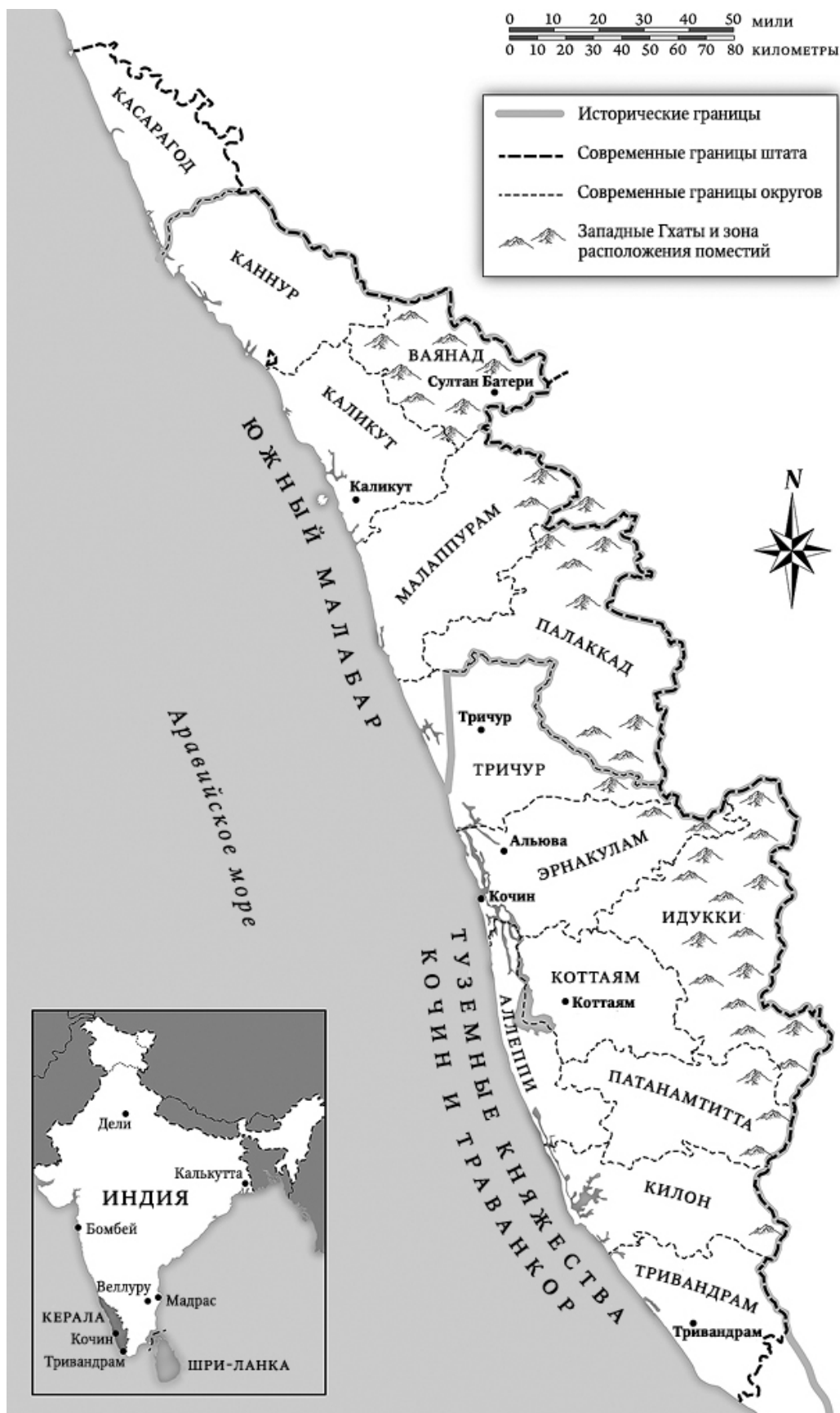
Абрахам
Вергезе
Завет
Воды
роман



Мариам Бергезе
In Memoriam

Из Эдема выходила река для орошения рая.
Бытие, 2:10

Не удары молота, а танец воды доводит
гальку до совершенства.
Рабиндранат Тагор



Часть первая



глава 1

Всегда

1900, Траванкор, Южная Индия

Ей двенадцать лет, и утром она выходит замуж. Мать и дочь лежат рядом на циновке, прижавшись друг к другу мокрыми от слез щеками.

— Самый печальный день в жизни девочки — это день ее свадьбы, — говорит мать и вздыхает. — А потом, Бог даст, станет легче.

Вскоре она слышит, как мамины всхлипы сменяются ровным дыханием, а затем тихим похрапыванием, которое, как кажется девочке, наводит порядок в рассеянных ночных звуках — от поскрипывания деревянных стен, источающих дневной зной, до роющей в песке дворовой собаки.

Кукушка надоедает: *Кежсеккетта? Кежсеккетта? Где восток? Где восток?*

Она представляет, как птичка смотрит вниз на поляну, на четырехугольную соломенную крышу, нависающую над их домом. И лагуну перед ним, и ручей, и рисовое поле позади. Птичьи крики могут продолжаться часами, не давая уснуть... но внезапно обрываются, как будто в гнездо прокралась кобра. В наступившей тишине ручей не журчит свою колыбельную, но ворчливо грохочет отполированной галькой.

Она просыпается до рассвета, пока мать еще спит. Сквозь окошко видно, как вода на рисовом поле поблескивает кованым серебром. На веранде сиротливо стоит резной отцовский *чáру касéра*, шезлонг, опустевший и покинутый. Она приподнимает подставку для письма, лежащую на длинных деревянных подлокотниках, и садится. Чувствует призрачный отпечаток отцовского тела, сохранившийся в тростниковом плетении.

Четыре кокосовые пальмы, растущие на берегу лагуны, склонились, поглядывая в воду на свои отражения, будто прихорашиваясь, прежде чем вытянуться к небесам. *Прощай, лагуна. Прощай, ручей.*

— *Муули?* — сказал накануне единственный брат ее отца, и она очень удивилась. Прежде у него не было привычки обращаться к ней с ласковым муули — доченька. — Мы нашли тебе пару! — Тон у него был вкрадчивый и елейный, как будто ей всего четыре года, а не двенадцать. — Твой жених ценит, что ты из хорошей семьи, дочка священника.

Она знала, что дядя подыскивает ей мужа, но все равно казалось, что он слишком спешит устроить этот брак. Что она могла ответить? Такие вещи решают взрослые. Беспомощное выражение на лице матери смущало ее. Маму было жалко, а ей хотелось только уважать ее, вовсе не жалеть. Позже, когда они остались вдвоем, мать сказала:

— Муули, это больше не наш дом. Твой дядя... — Она умоляла, как будто бы дочь *смела возражать*. Слова затихли, глаза нервно забегали. Ящерики на стене подергивали хвостами. — Там ведь почти такая же жизнь, да? Будешь праздновать Рождество, поститься перед Пасхой... церковь по воскресеньям. Та же евхаристия, такие же кокосовые пальмы и кофейные кусты. Это хорошая партия... Он зажиточный человек.

Зачем богатому мужчине жениться на бедной девочке, девочке без приданого? Что они недоговаривают? Чего ему *не хватает*? Молодости, для начала — ему сорок. У него уже есть ребенок. Несколько дней назад, после того как пришел и ушел сват, она подслушала, как дядя выговаривает маме:

— И что с того, что его тетка утонула? Это что, то же самое, что семейное безумие? Кто-нибудь слышал, что утопление передается по наследству? Люди всегда завидуют хорошей партии и вечно найдут, к чему придраться.

Сидя в шезлонге, она поглаживает полированные подлокотники и вспоминает руки отца; как большинство мужчин малаяли, он был похож на добродушного медведя — волосы на руках, на груди, даже на спине, кожу просто так не потрогать, только сквозь мягкий мех. Сидя на его коленях, в этом самом шезлонге, она выучила буквы. Она очень хорошо училась в церковной школе, и отец говорил:

— У тебя замечательные способности. Но любознательность — это даже важнее таланта. Тебе нужно учиться дальше. И даже в колледже! Почему нет? Я не позволю тебе рано выйти замуж, как твоя мать.

Епископ отправил отца в проблемную церковь рядом с Мундакаймом^[1], где не было постоянного *аччана*^[2] из-за недовольства купцов-мусульман. Семью не стоило брать с собой в тот край, где утренний туман даже в полдень продолжал разъедать колени, а к вечеру поднимался до подбородка и где сырость несла с собой хрипы, ревматизм и лихорадку. Не прошло и года его служения, как отец вернулся, стуча зубами в ознобе, а кожа его пылала, и моча текла черного цвета. Прежде чем они успели позвать на помощь, грудь его перестала вздыматься. Когда мама поднесла зеркальце к папиным губам, оно не затуманилось. Отныне дыхание отца стало просто воздухом.

Вот *это* и был самый печальный день в ее жизни. Разве может свадьба быть хуже?

Она в последний раз встает с плетеного сиденья. Кресло отца и его кровать — для нее почти священные реликвии, они хранят его сущность. Если бы только можно было забрать их с собой в ее новый дом.

В комнатах начинается шевеление, просыпаются домочадцы.

Она вытирает глаза, расправляет плечи, вскидывает подбородок, готовясь встретить все, что принесет этот день, — неприятные минуты расставания, разлука с родным домом, который больше не родной. Хаос и скорбь в Божьем мире — мистическая тайна, хотя Библия свидетельствует, что под всем этим кроется строгий порядок. Как, бывало, говорил отец:

— Вера означает знать, что смысл есть, даже когда он невидим.

— Я справлюсь, *Ánna*^[3], — говорит она, представляя, как ему сейчас горько. Будь отец жив, она бы не выходила сегодня замуж.

И представляет его ответ: *Отцовские тревоги заканчиваются с появлением хорошего мужа. Я молюсь, чтобы он оказался именно таким. Но одно знаю точно: Господь, который был с тобой здесь, будет с тобой и там, муули. Он обещал это в своем Завете. «Я с вами во все дни до скончания века»*^[4].

глава 2

Иметь и хранить

1900, Траванкор, Южная Индия

Путь до церкви жениха занимает почти полдня. Лодочник везет их через лабиринт незнакомых каналов, над которыми свисают огненно-красные цветы гибискуса, а дома стоят так близко к воде, что можно коснуться старухи, которая, сидя на корточках, просеивает рис взмахами плоской корзины. Слышно, как мальчик читает газету «Манорáма»^[5] слепому старику, и тот потирает голову, словно от новостей ему больно. Дом за домом, каждый — маленькая вселенная; дети ее возраста провожают взглядами лодку. «А вы куда?» — спрашивает голопузый проныра сквозь черные зубы, указательный палец — его зубная щетка, — посыпанный древесным углем, застыл на полпути. Лодочник сурово зыркает на мальчишку.

Из каналов они выплывают на ковер из лотосов и лилий, такой плотный, что по нему, кажется, можно ходить. Цветы приветливо раскрыты навстречу. Не задумываясь, она срывает один цветок, ухватившись за стебель, уходящий глубоко вниз. Он выскакивает с плеском, розовое сокровище, — непостижимо, как нечто столь прекрасное может появиться из такой мутной воды. Дядя многозначительно смотрит на мать, которая молчит, хотя беспокоится, что дочь запачкает свою белоснежную блузу и *кáлле мýнду*^[6] или *кавáни*^[7] с тонким золотым шитьем. Фруктовый аромат наполняет лодку. Она насчитала двадцать четыре лепестка. Проталкиваясь сквозь лотосовый ковер, они выбирают в озеро такое широкое, что дальнего берега не видно, воды его спокойны и гладки. Интересно, океан тоже так выглядит? Она почти забыла, что выходит замуж. На шумной пристани они пересаживаются в громадное каноэ, которым правят поджарые мускулистые мужчины; концы лодки загибаются, как сухие бобовые стручки. Две дюжины пассажиров сгрудились в середине, закрываясь от солнца зонтами. Она вдруг понимает, что отправляется так далеко, что приехать домой в гости будет непросто.

Озеро незаметно сужается до широкой реки. Лодка скользит быстрее, подхваченная течением. И вот уже вдалеке, на высоком берегу, массивное каменное распятие стоит на страже небольшой церкви, перекладина креста отбрасывает тень на реку. Это одна из семи с половиной церквей, основанных святым Фомой. Как и любой ученик воскресной школы, она может отбарабанить их названия: Кодунгаллур, Паравур, Ниранам, Палейур, Нилакал, Коккамангалам, Коллам и крошечная полуцерковь в Тирувитамоде, но при виде одной из этих святынь вживую у нее перехватывает дыхание.

Сват из Рáнни^[8] меряет шагами двор. Влажные пятна на его *джуба*^[9] расплываются от подмышек до груди.

— Жених должен был прибыть давным-давно, — говорит он.

Пряди волос, которые он уложил на макушке, растрепались и свисают над ухом, как хохолок у попугая. Он нервно сглатывает, и внушительный кадык дергается вверх-вниз по его горлу. На местных почвах в изобилии растут и рис, и вот такие зобы.

Свита жениха состоит только из его сестры, Танкаммы. Эта крепкая улыбающаяся женщина хватает крошечные руки будущей невестки и ласково сжимает.

— Он скоро придет, — заверяет она.

Аччан надевает епитрахиль поверх одежды и завязывает вышитый пояс. Он протягивает руку, ладонью вверх, словно безмолвно вопрошая: *Итак?* Ответа нет.

Невеста дрожит, несмотря на жару. Она не привыкла носить *чáтта*^[10] и мунду. С сегодняшнего дня больше никаких длинных юбок и разноцветных блузок. Она будет одеваться как ее мать и тетка, в традиционный наряд замужней женщины в христианской общине Святого Фомы, где единственный цвет — белый. Мунду такое же, как мужское, но завязано более замысловато, свободный конец собран в складки и сложен трижды, а затем заправлен в шлейф-веер, чтобы скрыть форму ягодиц. Маскировка — для этого предназначена и бесформенная блуза с короткими рукавами и v-образным вырезом, белая чатта.

Свет, падающий из высоких окон, отбрасывает косые тени. От запаха благовоний щекочет в горле. Как и в ее церкви, здесь нет скамеек, только грубый ковер из койры^[11] на крашенном суриком полу,

но лишь в передней части храма. Дядя кашлянул. Звук эхом разносится в пустом пространстве.

Она надеялась, что двоюродная сестра — и лучшая подруга — приедет на свадьбу. Сестру выдали замуж год назад, тоже в двенадцать, за двенадцатилетнего жениха из хорошей семьи. На свадьбе жених показался ей глупым как пробка, его больше интересовало содержимое собственного носа, чем церемония; аччан даже прервал *курбáну*^[12] и прошипел: «Прекрати ковыряться! Там нету золота!» Сестра написала, что в новом доме она только спит и играет с другими девочками из этой семьи, и она довольна, что не приходится иметь дела с этим противным мужем. А мама, читая письмо, сказала со вздохом: «Однажды все изменится». Невесте интересно, изменилось ли уже и что это означает.

В воздухе проносится оживление. Мать подталкивает ее вперед, а сама отступает.

Рядом возникает жених, и аччан немедленно начинает службу — *у него что, корова в хлеву телится?* Невеста смотрит прямо перед собой.

В заляпанных стеклах очков аччана мелькает отражение: на фоне света от входного проема темный крупный силуэт и маленькая фигурка рядом — это она.

Каково это — быть сорокалетним? Он ведь старше ее матери. Ее вдруг осеняет: если он овдовел, то почему не женился на ее матери вместо нее? Но она знает почему: выйти за вдовца немногим лучше, чем за прокаженного.

Аччан вдруг начинает запинаться, потому что будущий муж поворачивается и внимательно разглядывает невесту, развернувшись — немыслимо — спиной к священнику. Он всматривается в ее лицо, пытая, как человек, который очень долго и очень быстро шел. Она не осмеливается поднять взгляд, но чувствует его землистый запах. И, не в силах совладать с собой, начинает дрожать. И закрывает глаза.

— Но это же ребенок! — слышит она гневное восклицание.

Открыв глаза, видит, как ее дядя вытягивает руку, пытаясь остановить удаляющегося жениха, но тот отбрасывает руку в сторону, словно смахивая муравья с циновки.

Танкамма выскакивает следом за сбежавшим женихом, жирный живот ее колыхнется из стороны в сторону, хоть она и придерживает его руками. Перехватывает брата возле камня для поклажи — плоской каменной плиты на высоте плеча человека, лежащей на двух вертикальных каменных столбах, вкопанных в землю, — места, куда путник может опустить груз, который нес на голове, и перевести дух. Танкамма упирается ладонями в широкую грудь брата, пытаясь удержать, и медленно пятится спиной вперед.

— *Мууни*^[13], — говорит она, потому что он намного младше, годится ей в сыновья, а не в братья. — Мууни, — запыхавшись, повторяет сестра.

Случившееся в церкви — это очень серьезно, но все равно ужасно забавно, как брат напирает на нее, будто он пахарь, а она плуг, и Танкамма, не сдержавшись, смеется.

— Стой, послушай меня! — приказывает она, все еще улыбаясь.

Как часто сестра видела это угрюмое выражение на его лице, даже в детстве. Ему было всего четыре, когда их мать умерла, и матерью для мальчика стала Танкамма. Пела ему колыбельные и баюкала, чтобы малыш не хмурился. Много позже, когда старший брат обманом выгнал их из дома и отобрал все имущество, по праву принадлежащее младшему, только Танкамма вступилась за него.

Он замедлил шаг. Она хорошо знает его, молчуна этого. Если бы Бог чудом разомкнул сейчас ему челюсти, что бы он сказал?

Чечи^[14], когда я стоял рядом с этой дрожащей малюткой, я подумал: «И на ней я должен жениться?» Ты видела, как трясся у нее подбородок? У меня дома уже есть мой собственный ребенок. Мне не нужен еще один.

— Мууни, я понимаю, — говорит она, словно он и впрямь произнес вслух последние фразы. — Знаю, как это выглядит. Но не забывай, твоя мать и твоя бабка вышли замуж, когда им было всего по девять. Да, они были детьми, но их и растили дальше как детей, просто в другом доме, пока они не повзрослели. Разве не так получаются самые лучшие, самые прочные браки? Ладно, плюнь на это и просто на минутку задумайся об этой бедной девочке. Брошенная перед алтарем в день своей свадьбы? *Айó*^[15], какой стыд! Кто на ней женится после такого?

Он упрямо двигается дальше.

— Она хорошая девочка, — не унимается Танкамма. — Из такой хорошей семьи! За твоим маленьким ДжоДжо кто-то должен присматривать. Она станет для него тем же, кем я была для тебя, когда ты был ребенком. Просто дай ей повзрослеть в твоём доме. Ей Парамбиль нужен не меньше, чем она Парамбилю.

Танкамма спотыкается, он подхватывает сестру, и она снова смеется.

— Даже слонам трудно ходить задом наперед! — Только сестра может истолковать легкую асимметрию, скользнувшую по его лицу, как улыбку. — Я сама выбрала эту девочку для тебя, мууни. Не думай, что это заслуга свата. *Это я* встретила с матерью, я рассмотрела девочку, когда она и не подозревала, что я ее изучаю. Разве в первый раз я выбрала плохо? Твоя благословенная первая жена, упокой Господи ее душу, подошла идеально. И теперь доверься еще раз своей чечи.

Сват шепчется с аччаном, который бормочет:

— Что тут вообще происходит?

Господь — скала моя, крепость моя, Избавитель мой^[16]. Отец учил юную невесту повторять эти слова, когда ей будет страшно. *Скала моя, крепость моя*. Чудесная сила, исходящая от алтаря, опускается на нее, как стихарь, принося с собой глубочайшее умиротворение. Эта церковь освящена одним из Двенадцати; он стоял на той же земле, где сейчас стоит она, тот самый апостол, который *коснулся* ран Христа. Она слышит его, и это вовсе не воображение — голос, беззвучно говорящий. И Он говорит: *Я с тобой во все дни*.

А потом рядом вновь возникают босые ноги жениха. *Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое*^[17]. Но эти ноги, как лапы дикого зверя, грубы, покрыты застарелыми мозолями и неуязвимы для шипов, они способны сбить гнилой пень и умеют находить трещины и расщелины, чтобы взобраться вверх по стволу пальмы. Стопы шевельнулись, поняв, что их оценивают. Она не может удержаться: поднимает глаза на жениха. Нос острый, как топор, губы пухлые, подбородок торчит. Волосы у него черные как смоль, никакой седины, удивительно. Он гораздо смуглее, чем она, но красивый. Ее поражает пронзительный взгляд, который он устремил на

священника, — словно мангуст, ожидающий броска змеи, в любой миг готовый увернуться, крутануться на месте и схватить ее за шею.

Служба, должно быть, закончилась быстрее, чем она успела осознать, потому что мать уже помогает жениху снять покрывало с ее головы. Он делает шаг ей за спину. Кладет руки ей на плечи и застегивает на шее тонкую золотую *мінну*^[18]. Пальцы, коснувшиеся ее кожи, горячи, как уголья.

Жених оставляет свою размашистую подпись в церковной книге, передает перо невесте. Она ставит свое имя и дату — день, месяц, год: 1900. Когда она поднимает голову, он уже идет к выходу из церкви. Священник, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, бурчит:

— Что у него, рис на огне подгорает?

На пристани, где нетерпеливо качается пришвартованная лодка, мужа не видно.

— Еще с той поры, когда твой муж был маленьким мальчиком, — поясняет ей золовка, — он предпочитал передвигаться на своих ногах. А я вот нет! К чему ходить, если можно плыть? — Смех Танкаммы словно уговаривает тоже повеселиться.

Но здесь, у кромки воды, мать и дочь должны расстаться. Они приникают друг к другу — кто знает, когда увидятся вновь? У нее теперь новое имя, новый дом, неизвестный и далекий, которому она отныне принадлежит. И должна отречься от старого.

У Танкаммы тоже глаза на мокром месте.

— Не волнуйся, — утешает она убитую горем мать. — Я буду заботиться о ней как о родной. Побуду в Парамбиле недели две-три. Но потом она будет знать домашнее хозяйство лучше, чем свои псалмы. Нет-нет, не надо благодарить. Дети мои уже взрослые. И я задержусь подольше, чтобы муж успел по мне соскучиться!

Ноги юной невесты подкашиваются, когда она отстраняется от матери. Она упала бы, если бы Танкамма не подхватила ее на бедро, как ребенка, а потом шагнула вместе с ней в качающуюся лодку. Она инстинктивно обвивает ногами широкую талию Танкаммы и прижимается щекой к ее мясистому плечу. С этого насеста она оглядывается на одинокую печальную фигуру, машущую с причала, такую крошечную по сравнению с гигантским каменным распятием, возвышающимся позади.

Дом юной новобрачной и ее жениха-вдовца находился в Траванкоре, на южной оконечности Индии, клочке земли, зажатом между Аравийским морем и Западными Гхатами — длинным горным хребтом, тянущимся параллельно западному побережью. Эта земля создана водой, а ее народ объединен общим языком — малаялам. Там, где море встречается с белоснежными пляжами, оно простирает свои пальцы вглубь континента, сплетаясь с реками, змеящимися под зеленым пологом склонов Гхатов. Это волшебный мир детских сказок — с ручьями и каналами, сетью озер и лагун, лабиринтом заводей и бутылочно-зеленых лotosовых прудов; огромная кровеносная система, поскольку, как рассказывал отец, все водоемы связаны друг с другом. Вода породила народ — малаяли, — подвижный, как текущий мир вокруг них, их движения и жесты плавны, волосы волнисты, они с готовностью изливаются звенящим смехом, когда плывут от одного родственного дома к другому, пульсируя и блуждая, подобно кровяным тельцам в сосудистой сети, подталкиваемые великим бьющимся сердцем муссона. На этой земле кокосовые и пальмировые пальмы произрастают в таком изобилии, что даже ночами их резные силуэты покачиваются и переливаются под закрытыми веками. В снах, предвещающих благое, должны являться зеленые ветви и вода; их отсутствие считается кошмаром. Когда малаяли говорят «земля», они имеют в виду и воду тоже, поскольку не существует одного без другого, это все равно что нос без рта. На челноках, каноэ, баржах и паромах малаяли и их товары перемещаются по всему Траванкору, Кочину и Малабару с резвостью, которой и представить себе не могут сухопутные жители. В отсутствие нормальных дорог, регулярного транспортного сообщения и мостов вода — это настоящая автострада.

Во времена нашей юной невесты королевские семейства Траванкора и Кочина, чьи династии уходят корнями в Средние века, считались «туземными княжествами» при британском правлении. Под британским владычеством находилось более пяти сотен княжеств — половина всех земель Индии, — большая часть из них мелкие и малозначащие. Махараджей более крупных туземных княжеств, так называемых дружественных, — Хайдарабада, Майсора и Траванкора — приветствовали ружейным салютом от девяти до двадцати одного залпа, количество залпов отражало значимость махараджи в глазах британцев (и зачастую равнялось числу «роллс-ройсов» в княжеском

гараже). В обмен на позволение сохранить свои дворцы, автомобили и положение, а также за право управлять полуавтономно махараджи платили британцам «десятину» от налогов, которые они собирали со своих подданных.

Наша невеста в своей деревушке в туземном княжестве Траванкор никогда не видела ни британского солдата, ни гражданского чиновника; это совсем не похоже на ситуацию в «президентствах» Мадраса или Бомбея — территориях, управляемых непосредственно британцами, где они кишмя кишат. Со временем земли, где говорят на малайяли, — Траванкор, Кочин и Малабар — объединившись, образуют штат Керала, прибрежную территорию в форме рыбы на самой верхушке полуострова Индостан; голова рыбы указывает на Цейлон (нынешняя Шри-Ланка), а хвост — на Гоа, а глаза ее устремлены через океан на Дубаи, Абу-Даби, Кувейт и Эр-Рияд.

В Керале воткни в почву лопату где угодно, и ямку тут же наполнит вода цвета ржавчины, как кровь из-под скальпеля, латеритный ^[19] эликсир, питающий все живое. Можно, конечно, не верить, что абортированные-но-жизнеспособные зародыши, выброшенные в эту почву, вырастают в диких людей, но никто не спорит, что пряности произрастают здесь в изобилии, неведомом больше нигде в мире. Веками еще до рождества Христова моряки с Ближнего Востока ловили юго-западный ветер треугольными парусами своих дау ^[20], направляясь к Берегам Пряностей за перцем, гвоздикой и корицей. А когда попутный ветер менялся, они возвращались в Палестину, продавать специи купцам из Генуи и Венеции за небольшое состояние.

Лихорадка пряностей охватила Европу подобно сифилису и чуме, занесенная теми же средствами: моряки и корабли. Но эта инфекция была целительной: специи продлевали жизнь и пище, и тому, кто их употреблял. Нашлась, однако, и неожиданная польза. В Бирмингеме священник, который жевал корицу, чтобы скрыть запах перегара, обнаружил, что стал неотразимо привлекательным для своих прихожанок, и написал под псевдонимом популярный памфлет *«Новые соусы сладкие и острые: веселящая смесь, соединяющая непристойное с приятным для мужчины и его супруги»*. Аптекари прославляли чудесные исцеления от водянки, подагры и люмбаго благодаря отварам из куркумы, гарцинии и перца. Марсельский лекарь выяснил, что

втирание имбиря в маленький вялый пенис меняет оба качества на противоположные, а партнерше доставляет «такое удовольствие, что она отказывается с него слезать». Удивительно, что западным поварам не приходило в голову обжарить и растолочь вместе зерна перца, семена фенхеля, кардамон, гвоздику и корицу, затем всыпать эту смесь в масло вместе с семенами горчицы, чесноком и луком, чтобы получилась масала, основа любого карри.

И разумеется, когда цена на специи в Европе была сравнима со стоимостью драгоценных камней, арабские мореплаватели, возившие пряности из Индии, держали в тайне их источник. К 1400-м годам португальцы (а следом за ними голландцы, французы и англичане) организовали экспедиции, дабы отыскать землю, где произрастают бесценные растения; эти искатели напоминали озабоченных юнцов, почуявших запах блудницы. Где же она? На Востоке, всегда где-то на Востоке.

Но Васко да Гама отправился из Португалии на запад, не на восток. Он поплыл вдоль западного побережья Африки, вокруг мыса Горн, а потом вдоль другого берега. Где-то в Индийском океане да Гама захватил и пытал арабского лоцмана, который и привел его к Берегу Пряностей — нынешней Керале, — на побережье недалеко от города Каликут; это было самое долгое океанское путешествие из всех, проделанных прежде.

На *заморина*^[21] Каликута не произвели особого впечатления ни да Гама, ни его монарх, который в качестве даров прислал кораллы и медь, в то время как сам заморин щедро раздавал рубины, изумруды и шелк. Его позабавило, как самонадеянно да Гама заявлял, будто бы принес свет Христов язычникам. Неужели этому идиоту неизвестно, что за четырнадцать веков до его прибытия в Индию, даже прежде того, как святой Петр явился в Рим, другой из двенадцати апостолов — святой Фома — приплыл к этому берегу на арабской дау?

Легенда гласит, что в 52 году н. э. святой Фома сошел на землю вблизи нынешнего Кочина. Он встретил мальчика, возвращавшегося из храма. «Твой бог слышит твои молитвы?» — спросил он. Мальчик ответил, что, конечно, слышит. Святой Фома зачерпнул ладонью воду и подбросил в воздух, и капли застыли на лету. «А сможет ли твой бог сделать вот так?» Подобными демонстрациями, будь то магия или чудеса, он обратил в христианство несколько браминских семейств;

позже он принял мученическую смерть в Мадрасе. Первые обращенные — христиане Святого Фомы — оставались преданны вере и не вступали в брак за пределами общины. С течением времени община разрасталась, связанная воедино своими обычаями и своими церквями.

Почти две тысячи лет спустя двое последователей тех первых индийских обращенных, двенадцатилетняя невеста и вдовец средних лет, поженились.

«Что случилось, то случилось», — скажет наша юная невеста, когда станет бабушкой и когда внука — названная в ее честь — будет приставать с просьбами рассказать об их предках. До малышки доходили слухи, будто семейная история полна тайн и что среди их предков были работоторговцы, убийцы и даже лишенный сана епископ. «Детка, что было, то было, и вообще каждый раз, как начинаю вспоминать, помнится по-разному. Давай лучше расскажу про будущее, которое *ты сама* создашь». Но девочка настаивает.

Откуда же начать? С Фомы «неверующего», которому нужно было увидеть раны Христа, чтобы уверовать? С других мучеников за веру? Дитя требует истории своей семьи, истории дома вдовца, в который вошла ее бабушка, — дома, не имеющего выхода к морю в этой стране воды, дома, полного загадок. Но такие воспоминания сотканы из тончайших паутинок, время проедает дыры в ткани, и приходится штопать их мифами и сказками.

Однако есть нечто, в чем бабушка уверена: сказка, которая оставляет след в душе слушателя, рассказывает правду о том, как устроен мир, а значит, неизбежно повествует и о семьях, их победах и их ранах, об их усопших, в том числе и тех, кто превратился в блуждающего призрака; сказка должна научить, как жить в Божьем мире, где радость никогда не избавляет от печали. Хорошая история способна сотворить то, до чего не доходят руки у милостивого Бога, она исцеляет семьи и избавляет их от бремени тайн, чьи узы сильнее кровных. Поскольку тайны эти — как раскрытые, так и сохраненные — могут разрушить семью.

глава 3

О чем не говорят

1900, Парамбиль

Молодой жене снится, что она плещется в лагуне с сестренками, забирается в узкий челнок, нечаянно опрокидывает его и забирается опять, их смех эхом отражается от берега.

Она просыпается в замешательстве.

Рядом с ней вздымается и опадает храпящая гора. Танкамма. Ах да. Ее первая ночь в Парамбиле. Название царапает язык, как острый обломок зуба. От соседней двери, из комнаты ее мужа, не доносится ни звука. За телом Танкаммы почти не видно маленького мальчика, только блестящие взъерошенные волосы на его голове и рука, ладошкой вверх, лежащая рядом.

Она прислушивается. Чего-то не хватает. Эта пустота настораживает. Девочку осеняет: не слышно воды. Вот чего не хватает — ее журчащего, баюкающего голоса, и потому она сотворила воду в своем сне.

Вчера *ва́ллум*, челнок, обшитый досками, посадил их с Танкаммой у маленького причала. Они прошли через поле с торчащими кое-где кокосовыми пальмами, увешанными плодами. Четыре коровы паслись на поле, каждая на длинной привязи. Потом миновали ряды банановых деревьев, их разлапистые листья шелестели и хлопали друг о друга. Грозди красных бананов почти касались земли. Воздух напоен был ароматом дерева *чампáка*^[22]. Три камня, отполированные от долгого использования, служили мостиком через мелкий ручей. Дальше ручей разливался в пруд, берега которого заросли кустами пандануса и карликовыми пальмами *чентénгú*^[23], гнущимися под тяжестью оранжевых кокосов. На берегу пруда вкопан наклонный камень для стирки; Танкамма сказала, это место, куда можно ходить купаться. Журчание ручья служило благим предзнаменованием. Она высматривала свой новый дом рядом с причалом, где они высадились, но у реки его не оказалось, так что наверняка дом стоит у ручья... но нет.

— Вся эта земля больше пяти сотен акров, — гордо сообщает Танкамма, поводя рукой налево и направо. — Это все Парамбиль. Большая часть — заросшие дикие холмы. А из того, что расчищено, возделана только часть. Но пока твой муж не занялся этой землей, здесь были джунгли, муули.

Пять сотен акров. Хозяйство, в котором она жила до вчерашнего дня, умещалось всего на двух.

Они продолжали путь по тропинке, обсаженной по сторонам маниоккой. Наконец высоко на холме, силуэтом на светлом фоне, показалась постройка. Она не отрываясь смотрела на то, что станет ее домом до конца жизни. Линия крыши знакомо изгибалась посередине, приподнимаясь к концам, низко нависающие карнизы закрывали солнце, затеняя веранду... но в голове крутилась только одна мысль: *Почему так высоко? Почему не у ручья? Или у реки, приносящей новости, гостей и прочие добрые вещи?*

Сейчас, лежа на спине, она изучает комнату: промасленные отполированные стены из тика, не из обычного хлебного дерева, с отверстиями в форме распятия наверху, через которые может выходить теплый воздух; подвесной потолок тоже из тикового дерева, защищающий от жары; тонкие деревянные решетки на окнах пропускают ветерок и, конечно, двустворчатая дверь, ведущая на веранду, верхняя половина сейчас открыта, впуская ночной бриз, а нижняя закрыта, чтобы не пробрались куры и всякие безногие создания, — очень похоже на дом, из которого она уехала, только этот гораздо больше. Каждый *тач'ан*, плотник, следует древним правилам *В'асту*^[24], от которых не отклоняются ни индуисты, ни христиане. Для хорошего тачана дом — это жених, а земля — невеста, и он должен совместить их столь же аккуратно, как астролог совмещает гороскопы. Когда в доме случается беда или преследуют неудачи, люди говорят: это потому, что жилище поставлено в неблагоприятном месте. И вновь она задается вопросом: *Почему здесь, так далеко от воды?*

Шорох листьев, дрожь, исходящая от земли, заставляют сердце биться чаще. Нечто, возникшее у дверей, заслоняет свет звезд. Это местный призрак явился показаться ей? В следующий миг через верхнюю половину двери в комнату словно прорастает пышный куст. А вокруг куста обвилась огромная змея. Юная жена не может ни

шевелинуться, ни вскрикнуть, хотя понимает, что сейчас с ней произойдет что-то ужасное в этом таинственном, сухопутном доме... Но разве смерть пахнет жасмином?

В воздухе повисает ветка жасмина, которую сжимает слоновий хобот. Цветочные гроздья плывут, покачиваясь, над спящими, пока не замирают над ее головой. Она чувствует на лице теплое, влажное, древнее дыхание. Крошечные комочки земли падают ей на шею.

Страх растворяется. Поколебавшись, она тянется за подношением. Удивительно, что слоновьи ноздри так похожи на человеческие — окаймленные светлой веснушчатой кожей, нежные, как губы, но проворные и ловкие, как пальцы; он сопит ей в подмышку, щекочет локоть, подползает к лицу. Она еле сдерживается, чтобы не хихикнуть. Жаркий выдох снисходит на нее, как благословение. Запах — это что-то из Ветхого Завета. Хобот беззвучно уползает.

Она поворачивается и обнаруживает ошеломленного свидетеля. Двухлетний ДжоДжо выглядывает из-за плеча Танкаммы, глаза его широко распахнуты. Она улыбается ему, поднимается, повинувшись порыву, наклоняется и скидывает малыша на бедро, и они вместе выходят, вслед за ночным видением.

Повсюду в Парамбиле она ощущает присутствие духов, как и в любом доме. Один из них шагает в *мутта́м*^[25]. Темнота мерцает невидимыми душами, бесчисленными, как светлячки.

На поляне у вздымающейся ввысь пальмы, над кучей сухих пальмовых листьев парит в воздухе, сияя сетчаткой, глаз — покачивается, как лампа на ветру. Когда зрение привыкает, из тьмы проступает гора лба, потом лениво хлопающие уши... скульптура, высеченная из темной глыбы ночи. Слон настоящий, вовсе не призрак.

ДжоДжо машинально обвивает ручкой ее шею, пальцы вцепляются в мочку уха, он устраивается у нее на бедре, как будто всю жизнь там сидел. Она готова рассмеяться — только вчера *она сама* вот так прильнула к Танкамме. Они тихо стоят, двое полусирот. Духи повинуются команде дарителя жасмина и возвращаются в тень, уступающую место рассвету.

За свою короткую жизнь она видела храмовых слонов, которым поклонялись и подносили угощения, видела рабочих слонов, которые медленно брели через деревню в лес на помощь лесорубам. Но это создание, закрывающее звезды, определенно было самым большим в

мире слоном. Вид его медленно жующих челюстей, грациозный танец хобота, заталкивающего листья в усмехающуюся пасть, успокаивает ее.

С подветренной стороны от слона, сразу за земляной насыпью канавы, которую сооружают вокруг каждой кокосовой пальмы, чтобы вода и навоз не стекали наружу, на плетеной койке спит мужчина.

Локти и колени ее мужа торчат над деревянной рамой. В его позе, в изгибе могучей левой руки, на которой он лежит щекой, как на подушке, в пальцах, собранных в щепоть, она видит подобие их ночного жасминового гостя.

глава 4

Становление хозяйки

1900, Парамбиль

Стопам прохладно на земляном полу кухни. Стены потемнели от дыма и впитали в себя аппетитные запахи; в этом потаенном святилище она мгновенно почувствовала себя дома. Танкамма, наклонившись, дует в широкую металлическую трубку, щеки у нее надуваются шарами, пока она терпеливо возрождает погасшие за ночь угли в *адуппу*^[26]. Из шести кирпичных выемок в этом приподнятом очаге горшки стоят в четырех. Удивительно, как шустро для такой грузной женщины двигается Танкамма, руки так и мелькают, подбрасывая сухую кокосовую скорлупу под сковороду, где жарится лук, и приминая угли, чтобы рис булькал потише. Танкамма наливает невесте кофе, сваренный с молоком и подслащенный пальмовым сахаром.

— Я приготовила *нутту*^[27], — говорит она, вытряхивая из формы упругий белый цилиндр пропаренного клейкого риса прямо на банановый лист.

Для ДжоДжо она смешала рис с бананом и медом. А еще разогрела жареную говядину — *эреки олартхиярту* — и огненное рыбное карри — *меен вевичатху*, — оставшиеся с вечера.

— Наутро рыба вкуснее, правда же? В этом прелесть глиняного горшка! Береги его и никогда не используй ни для чего другого, кроме меен вевичатху, хорошо? И с каждым годом твое карри будет становиться все вкуснее. Если в моем доме вдруг случится пожар и мне придется выбирать между мужем и глиняным горшком... ну что ж, буду утешаться тем, что старик прожил хорошую жизнь. А с карри, которое я буду готовить в своем горшке, вдоветь будет гораздо легче!

Танкамма хохочет во весь голос. Молодая жена, ошеломленная, сидит, скрестив ноги, и разглядывает свой первый завтрак в Парамбиле — очень обильный и такой сытный, что им с матерью хватило бы на неделю.

— Твой муж поел на бегу, как обычно. И уже ушел в поле.

Танкамма настаивает, что новобрачной не нужно ничего делать, кроме как позволить себя побаловать. Девочка пытается было возражать, но это не в ее привычках. Она следит за ловкими пальцами Танкаммы, стараясь углядеть, какие ингредиенты отправляются в карри, но это очень трудно, когда готовится одновременно не меньше двух блюд. Руки Танкаммы, должно быть, сами все помнят, потому что она совсем не обращает на них внимания, а только тараторит без умолку. ДжоДжо тащит девочку из кухни, ужасно гордый, что показывает ей дом, комнату за комнатой, совершенно позабыв, что буквально пару часов назад уже делал это. Дом построен буквой Г, одно крыло, оставшееся от старого, прежнего дома, приподнято над землей на высоком цоколе и сооружено вокруг кладовой, или *ара*, в которой хранится семейное богатство — деньги, драгоценности и рис. Под ара устроен погреб, а по сторонам от ара расположены неиспользуемая спальня и просторная кладовая, рядом с кладовой — кухня. Узкая внешняя веранда объединяет все помещения. Новая часть дома ближе к земле, с широкой гостеприимной верандой с трех сторон. В новой части есть гостиная, в которую редко заходят, и две смежные спальни — мужнина и та, где спят она, ДжоДжо и Танкамма, — и еще одна комната, которую используют как чулан.

Старое и новое крыло окружают четырехугольный муттам — двор, вымощенный желтой, золотистой и белой галькой, добытой со дна реки. Каждое утро женщина *пулайи*^[28], Сара, убирает с муттам опавшую листву и разравнивает гальку метлой, оставляющей веерообразный узор. Муттам — это место, где расстилают циновки, чтобы высушить ошпаренный рис, где на веревках сохнет одежда и где ДжоДжо пинает свой мяч.

После обеда молодая жена, ДжоДжо и Танкамма долго спят. А муж никогда не отдыхает, он почти все время работает в поле. Когда бы она ни взглянула в ту сторону, рядом с ним всегда несколько пулайар, среди которых он выделяется своим ростом и более светлой кожей. По вечерам Танкамма оставляет дела и переводит дух; они втроем садятся на ветерке на пороге кухне, и пожилая женщина рассказывает бесконечные истории, балуя их с ДжоДжо лакомствами из погреба. Задним числом она догадывается, что рассказы Танкаммы — это нечто вроде наставлений. Она пытается вспоминать их, ложась спать, но именно в это время тоска по дому терзает ее сердце и каждая мысль

обращается к родным местам. Забота и ласка Танкаммы так сильно напоминают о матери, что печаль становится лишь острее. Но она позволяет себе плакать, только когда уверена, что все уже спят.

На второе утро, когда в отдалении слышатся залиvistые крики торговли рыбой, Танкамма просит новобрачную позвать крикунью. Спустя пять минут женщина, источающая рыбный запах, уже на пороге кухни. Танкамма помогает ей снять с головы тяжелую корзину.

— *Áax*^[29], вот она, невеста! — восклицает торговка, отряхивая с рук чешую и усаживаясь на корточки. — Специально для нее я сегодня принесла особую *mátxi*^[30]. — Она снимает дерюгу, прикрывающую корзину, словно демонстрируя драгоценные самоцветы.

Танкамма нюхает сардину, сжимает в руке, швыряет обратно в корзинку.

— Специально для невесты, говоришь? Ну и забирай ее, раз она такая особенная. А что это там под тряпкой? Аах! Ты погляди! А вот эта матхи для кого? Или была еще одна свадьба, о которой я не знаю? Давай сюда! И ни слова!

На следующий день невеста видит, как через муттам идет пулайан Самуэль, чуть приседая под тяжестью корзины, нагруженной кокосовыми орехами, которую он тащит на голове. Танкамма говорила, что он старший тут в Парамбиле и правая рука ее мужа; Сара, которая метет муттам, — его жена. Семья Самуэля работает на них уже несколько поколений, сказала Танкамма, его предки, наверное, в древности принадлежали их семье, еще до того, как это стало незаконным. Пулайар — низшая каста в Траванкоре, у них почти никогда нет собственного имущества, даже их хижины принадлежат хозяину земли; для брамина считается нечистым даже взгляд на них, потом нужно делать очистительное омовение.

Под весом корзины мышцы на шее и руках Самуэля натянуты как канаты, обвившие маленькое щуплое тело. Голая грудь напряженно вздымается, ребра как будто торчат уже над кожей; на теле у него почти нет волос, за исключением щетины на щеках и над верхней губой да еще на стриженной голове, с проседью на висках. На вид ему столько же лет, что и ее мужу, хотя Танкамма сказала, что он моложе.

Самуэль замечает ее, и широкая улыбка преображает его лицо, скулы сияют, как отполированное эбеновое дерево, а белые ровные

зубы подчеркивают изящные черты. Есть что-то детское в его восторженности от встречи с юной женой.

— Аах! — радуется он — но для начала нужно разобраться с важным делом. — Муули, не позовешь чечи Танкамму? Корзина слишком тяжелая, ты не справишься.

Танкамма помогает ему опустить корзину, он стягивает обернутый вокруг головы *тхорт*^[31], встряхивает, вытирает лицо, не сводя глаз и сияющей улыбки с юной невесты.

— Сейчас еще принесут. Мы все утро лазали, *тамб'ран*^[32] и я. — Самуэль вытягивает руку, показывая, и она видит вдалеке мужа, сидящего со скрещенными руками верхом на стволе склонившейся пальмы, в том месте, где ствол вытягивается почти горизонтально. Ноги его небрежно свисают, и он словно глубоко задумался о чем-то. Это зрелище заставляет невольно вздрогнуть, пробуждая в ней страх высоты. Невероятно, что хозяин так рискует жизнью, когда есть пулайар для подобной работы.

— Ты зачем позволяешь тамб'рану забираться так высоко сразу после его свадьбы? — возмущается Танкамма. — Признавайся — если он лезет на пальму, тебе остается только половина работы.

— Аах, попробуй его останови. Он же прямо как маленький тамб'ран. — Самуэль поглаживает ДжоДжо по животику. — В небе счастливее, чем на земле.

ДжоДжо нравится, что его называют маленьким хозяином.

Голая грудь Самуэля усеяна крошками коры. Все еще улыбаясь жене тамб'рана, он старательно собирает складками свой голубой клетчатый тхорт и перекидывает через левое плечо. Она смущенно опускает глаза и замечает покалеченный большой палец на его правой ноге, расплющенный, как монета, и без ногтя.

— Аах, Самуэль, — говорит Танкамма. — Почисть нам, пожалуйста, три кокоса. А потом, когда умоешься, приходи поесть. Новая хозяйка тебе подаст.

У Самуэля есть собственная глиняная миска, висящая на крючке, под свесом крыши у задней двери в кухню, и там он и будет есть, прямо на ступенях. Пулайар никогда не входят в жилые комнаты. Сара, конечно, готовит ему дома, но трапеза у хозяина сберегает его собственные запасы риса. Сполоснув миску, Самуэль наполняет ее

водой и осушает до дна, потом садится на корточки на ступенях. Юная невеста подает ему *кандж́и* — жидкий рис с куском рыбы и маринованным лаймом.

— Ну как, тебе тут нравится? — спрашивает Самуэль, затолкав за щеку большой комок риса.

Она, стоя рядом, смущенно кивает. Палец рассеянно выводит *ᄒᄒ*, первую букву в слове *ána*, *слон*, и сама буква кажется ей похожей на слона.

— Когда я попал в Парамбиль, я был даже младше, чем ты. Совсем мальчишкой еще, — рассказывает Самуэль. — Здесь даже дома еще не было. Я боялся, что слоны затопчут нас во сне. Дом защищает. Секрет в крыше, ты знала? Почему, ты думаешь, дома всегда строят именно так?

На ее взгляд, крыша ничем не отличается от прочих. Только передний фронто́н — фасад дома с узором из резных отверстий, словно лицо, — у каждого жилища свой. А еще со всех сторон нависает соломенный карниз, как будто крыша намеревается проглотить жилище. Самуэль показывает пальцем:

— Когда стропила торчат вот так, нет плоской поверхности, на которую слон может навалиться. Или толкнуть.

Он прямо как ДжоДжо, гордо показывающий дом. Самуэль ей нравится.

— В самую первую ночь слон приходил поздороваться со мной, — доверчиво сообщает она тихим голосом.

— Неужели? Дамодаран! — Самуэль с улыбкой качает головой. — Этот парень приходит и уходит когда пожелает. Я уже засыпал, как вдруг почувал, что земля дрожит. Подумал, это точно он. Вышел — вижу, на нем сидит Унни, ворчит, потому что Дамо решил сбежать с лесной делянки, когда уже стемнело. Аах, но Унни особо не на что жаловаться. Когда Дамо здесь, Унни получает выходной и ночует дома с женой. А тамб'ран спит рядом с Дамо. Они разговаривают.

Содержать слона дорого, слыхала она. Нужно не только платить Унни, погонщику, но еще и за прокорм Дамо.

— А Дамодаран принадлежит нам?

— Нам? Разве солнце принадлежит нам? — Самуэль, как учитель, ждет, пока она помотает головой. — Аах аах, вот как и солнце, Дамодаран сам себе хозяин. Я дразню Унни, что на самом деле это

Дамо погонщик, хотя он и позволяет Унни сидеть у себя на спине и делать вид, будто правит. Тебе никто не рассказывал про Дамо? Аах, тогда Самуэль расскажет. Давным-давно, когда этого дома еще не было, тамб'ран и мой отец спали на улице и слышали жуткие крики. Трубный рев слона. Земля задрожала! Треск ломающихся деревьев был подобен грому. Мой отец подумал, что настал конец света. А на рассвете они обнаружили рядом молодого Дамодарана, бедняга лежал на боку, весь в крови, одного глаза не доставало, а между ребер у него торчал сломанный бивень. Слон-самец, который напал на него, должно быть, взбесился. Тамб'ран обвязал обломок бивня веревкой и, отойдя подальше, вытащил его. Видела этот бивень? Он висит в комнате тамб'рана. Дамодаран ревел от боли. Из раны пузырями вытекала кровь. Тамб'ран — какой же он храбрец — забрался на Дамо и запечатал рану листьями и глиной. Он лил воду в пасть Дамодарану, глоток за глотком, сидел рядом с ним, разговаривал весь день и всю ночь. Он сказал Дамодарану больше слов, чем говорил кому-нибудь из людей за всю свою жизнь, рассказывал мой отец. И через три дня Дамодаран встал. А через неделю ушел.

А еще через несколько дней тамб'ран и мой отец срубили громадное тиковое дерево и пытались вытащить его на поляну. Из лесу вышел Дамодаран и подтолкнул ствол, взял и сделал. Слоны любят работать. И он так ловко научился управляться с бревнами. Сейчас он работает на тиковой делянке с лесорубами, но только когда у него есть настроение. А когда хочет, возвращается сюда. Он приходил посмотреть на новую жену тамб'рана. Так я думаю.

Под руководством Танкаммы она медленно и постепенно входит в ритм жизни Парамбиля. С каждым прошедшим днем чувствует, как дом, оставленный ею, растворяется в прошлом, и тогда тоска становится еще болезненнее. Она не хочет забывать. После завтрака Танкамма говорит:

— Сегодня я собиралась приготовить халву из джекфрута, а ты мне поможешь, муули. Потому что мы с ДжоДжо по ней жутко соскучились!

ДжоДжо радостно хлопает в ладоши.

— Муули, жизни придают сладость только две вещи: любовь и сахар. Если первого у тебя недостаточно, добавь побольше второго! —

Танкамма уже сварила порезанный на кусочки джекфрут и теперь разминает его с растопленным пальмовым сахаром. — Тут есть секрет: пока разминаешь джекфрут, закрой глаза и думай, чего бы тебе хотелось от твоего мужа. — Танкамма старательно зажмуривается, морщась от напряжения и демонстрируя дырку между передними зубами. — Теперь щепотку кардамона, соли, чайную ложку гхи. Готово! А теперь все должно остыть. Попробуй. Правда же, чудесно? — И шепотом продолжает: — Я серьезно, муули. Это ключ к счастливому браку. Загадай желание, а потом накорми мужа халвой. И все, что пожелаешь, сбудется!

Гордость за то, что она сумела войти в ритм местной жизни, что сама сумела приготовить несколько блюд под бдительным присмотром Танкаммы, перечеркивалась знанием, что Танкамма скоро уедет. Когда Танкамма бурно расхваливает ее карри из цыпленка, она лучится от гордости, но в следующий момент уже припадает к Танкамме, зарывшись лицом в пухлое плечо и скрывая слезы. *Пожалуйста, останься! Не уезжай!* Но она уже слишком сильно полюбила Танкамму, чтобы произнести это вслух. У Танкаммы есть собственный дом, там ее ждет муж. Она бормочет:

— Я никогда не забуду вашу доброту. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас?

— Аах, когда у тебя появится невестка, обращай с ней, как с драгоценностью. Вот так и отблаговаришь меня.

За день до своего отъезда Танкамма выходит из кухни и устремляет взгляд на солнце, прямо над головой.

— Муули, отрежь банановый лист и упакуй обед для своего мужа. Пускай попробует твой *тóран*^[33] из бобов и еще матхи, которые мы пожарили. Положи побольше риса. Он наверняка где-то в поле с Самуэлем, земли свои осматривает. Видишь вон ту высокую пальму? Он где-то там должен быть.

Молодая жена послушно выкладывает еду на банановый лист, заворачивает, крепко перевязывает бечевкой, берет маленький медный кувшин с *джіра* — водой, вскипяченной с зернами кумина, — и отправляется в путь. Ее переполняет тревога перед скорым неминуемым отъездом Танкаммы. Утром она обнаружила, что в Парамбиле нет ни бумаги, ни ручки. Надежды записать хоть

несколько рецептов Танкаммы обратились в прах. Что, если она их забудет?

Вдоль тропинки растет высокая трава, достигающая ей до плеч; Танкамма рассказывала, что некогда трава росла здесь так густо, что ни Бог, ни свет не могли проникнуть в заросли, которые кишели скорпионами, кобрами, громадными крысами и ядовитыми многоножками.

— Каким сумасшедшим должен быть индус или христианин, чтобы поселиться здесь? — говорила Танкамма. — Твой муж пришел сюда, после того как наш старший брат обманом выгнал его из родительского дома, заставив поставить отпечаток пальца на клочке бумаги.

Отец Самуэля, пулайан Йоханнан, пришел вместе с ним, считая своим долгом служить законному наследнику; потом Йоханнан забрал сюда жену и сына. Двое мужчин построили хижину.

— Можешь себе представить, как мой брат спит под одной крышей со своими пулайар? Ест вместе с ними? Когда оказываешься в аду, все каменные барьеры рушатся, верно? Только силы небесные сохранили им жизнь. В первую же неделю тигр утащил их единственную козу. Дни, когда их не трясла лихорадка, по пальцам можно было пересчитать. Но они копали канавы, осушали болота, вырубали кустарники и расчищали землю. Муули, я рассказываю это тебе не только потому, что я горжусь своим младшим братом, но чтобы ты знала, что он не такой, как другие. Йоханнан был ему как отец. И точно так же сын Йоханнана, Самуэль, до конца дней будет рядом с тобой и твоей семьей.

Танкамма рассказала, как брат уговорил искусных индусов-ремесленников, тачана и кузнеца, переехать сюда, предложив им расчищенные участки у реки и заверив, что хижины пулайар будут ниже по течению, чтобы мастера не жаловались на ритуальную нечистоту. Потом сюда переселились гончар, ювелир и каменщик. После того как его дом был готов, муж раздал участки по одному-два акра множеству своих родственников. Если эти родственники возделывали землю и продавали урожай, они могли, если захотят, купить у него еще земли.

— Понимаешь, о чем я, муули? Он раздавал землю! Они могли передать участок своим детям. Он хотел, чтобы это место процветало.

И он еще не закончил свой труд. Кто знает, может, в следующий раз, когда я приеду в гости, здесь будет проложена широкая дорога, появятся магазины, школа...

— Церковь? — предполагает она, но на это Танкамма ничего не отвечает.

Муж смотрел вверх, на высокое дерево, голая грудь его усеяна кусочками коры, крепкий *веттукáти*^[34] свисает с пояса, сзади заткнут топорик. Он удивленно оглядывается на жену. Принимает еду из ее рук.

— Ох уж эта Танкамма! — Улыбка слышна в голосе, но на лице не заметна.

Муж садится, приваливается к стволу дерева, но сначала расстилает свой тхорт, чтобы села жена. Ест он жадно. Она не произносит ни слова. С изумлением понимая, что он смущен не меньше нее.

Закончив, он поднимается и говорит:

— Я провожу тебя.

Она слышит крики и смех. По левую руку от них вдалеке через ручей переброшено бревно, которого она раньше не замечала. На другом берегу на поляне стоит камень для поклажи. Эти нехитрые сооружения торчат, как доисторические памятники, вдоль протоптанных тропинок, позволяя путнику сдвинуть ношу с головы на горизонтальную плоскую плиту и перевести дух. Она видит, как молодой парень толкает и раскачивает поперечную балку, а двое приятелей подначивают его. У всех троих на лбу полосы, нанесенные сандаловой пастой. Тот, что качает камень, крепко сложен, голова его обрита налысо, за исключением пучка волос спереди. Горизонтальная плита падает с опор и грохается о землю, поднимая облако красной пыли. Физиономия вредителя сияет гордостью и восторгом.

Она представляет, как Самуэль возвращается с мельницы с тяжелым мешком рисовой муки на голове, предвкушая, как доберется до камня, где не нужно будет даже наклоняться, чтобы опустить поклажу на плиту. И как ему придется идти дальше без отдыха или опустить мешок на землю и дожидаться, пока кто-нибудь не поможет поднять его и вскинуть обратно на голову. В краю, где почти все грузы переносят таким манером, где дороги постоянно размывает или они

слишком изрыты и непроходимы для повозок, где надежны и постоянны только пешеходные тропы, такие площадки для отдыха настоящее благословение.

Парни замечают их и замолкают. На вид они сытые и гладкие, из тех, кому никогда не приходилось носить тяжести, кому не нужны камни для поклажи. Судя по одежде и внешности, они из *наиров*. Большая семья наиров живет у западной границы Парамбиля. Наиры — каста воинов, многие поколения махараджей Траванкора нанимали их для защиты от вражеских набегов. Друг ее отца, наир, даже выглядел соответствующе, щеголяя свирепыми усами, под стать могучей фигуре. Под властью британцев махарадже больше не нужна была защита, и армия наиров ему тоже больше не требовалась. Говинд-наир был очень огорчен. «Как он может называть себя правителем Траванкора? Он же марионетка, которая отдает наши налоги англичанам. Британцы „защищают“ его — от чего? Когда враг уже внутри стен?»

Муж приподнимает *мунду*^[35], открывая колени, решительно шагает к бревну-мосткам, однако переходит ручей очень осторожно. Молодежь хихикает, но тут же унимается, когда этот пожилой самец-слон приближается к ним. У нее все сжимается в животе. К ее изумлению, муж, не обращая внимания на юнцов, наклоняется к упавшему камню.

— Что ж, у тебя хватило сил сбросить его. А хватит сил поставить на место?

— А может, ты сам? — задиристо отвечает парень, хотя голос его подрагивает.

Муж просовывает пальцы под край упавшей балки, поднимает ее сначала до пояса, а потом делает шаг, устанавливая вертикально. Затем, найдя центр тяжести, опускает камень на плечо, тот ложится, слегка покачиваясь. Напряженные бедра его подобны стволам дерева, а мышцы на шее как толстые канаты, когда он укладывает на вертикальные опоры сначала один, а потом и другой конец каменной балки. Он прислоняется к плите, переводя дыхание. И внезапным толчком вновь сбрасывает ее с опор. Камень падает на землю и катится на юнцов, заставляя их испуганно отпрыгнуть. Приподняв бровь, он призывно смотрит на высокого юношу. *Твой черед.*

Неестественная тишина повисает над поляной, словно вода застыла в воздухе. Наконец муж кричит ей через ручей:

— Они только одеты как мужчины. Мы с отцом этого мальчишки поставили здесь этот камень еще до его рождения. Сейчас в своем преклонном возрасте Куттаппан-наир вынужден будет прибираться за своим придурковатым потомством, но он-то поднимет этот камень, как зубочистку.

Муж поворачивается спиной к парням и удаляется.

Пучок волос падает вперед, когда юнец наклоняется и пытается поднять камень, он морщится, вены на лбу вздуваются, как змеи. Когда ему удастся поставить плиту вертикально, мышцы отказывают, и друзья бросаются на помощь, чтобы растяпу не задавило. Камень удается наконец взгромоздить на плечо, но тот дико раскачивается. С трудом парни все же опускают плиту на опоры, но выглядят они уже довольно потрепанным, все в синяках и царапинах, а у высокого кровь течет по плечу. Ее муж ничего этого не видит, он идет к ней, и лицо его искажено гневом, вселяющим в нее ужас. Коротким кивком он выражает благодарность за обед и одновременно необходимость возвращаться к работе. Она стремглав мчится домой.

Увидев ее лицо, Танкамма тут же усаживает ее рядом.

— Этим парням повезло, что он сдержался, — говорит Танкамма, выслушав, что произошло.

Слова не очень успокаивают, и чашка с водой дрожит в руках новобрачной.

— Муули, не тревожься. Он никогда не гневается без причины. И никогда не разозлится на тебя. Он никогда тебя не обидит. — Танкамма приобнимает ее. — Я понимаю, все здесь для тебя внове, все пугает. Когда я вышла замуж, нам с моим мужем было по десять лет. Он был гадким мелким паршивцем. Мы не обращали внимания друг на друга. Мы были просто детьми в большом доме, и нас таких там было много. И все мальчишки были противными. Однажды я увидела, как он сидит на бревне и смотрит на реку. Я подкралась и толкнула его прямо в воду! — Смеялась Танкамма так заразительно, что молодая жена тоже невольно улыбнулась. — Он до сих пор мне напоминает тот день! Да, мы друг друга терпеть не могли. Но видишь, все меняется. Не волнуйся. — Танкамма пристально смотрит на нее и добавляет: — Я

хочу сказать, что мой брат, он как кокосовый орех. Твердый он только снаружи. Ты его жена, и он заботится о тебе, как заботится о тебе Танкамма. Понимаешь?

Она старается понимать. Танкамма, которая никогда не лезет за словом в карман, кажется, чувствует себя неловко, сказав так много.

— Тебе не нужно ничего делать. Не волнуйся. Все откроется в свое время.

глава 5

Домоводство

1900, Парамбиль

После отъезда Танкаммы в доме воцаряется такая тишина, словно он очутился под водой, сквозь которую почти не проникает свет. ДжоДжо, растерянный и печальный, не выпускает мачеху из поля зрения, даже во сне его маленькие пальчики цепляются за ее волосы. В первую их ночь в одиночестве она не сомкнула глаз — не из-за храпа мужа, доносившегося из соседней спальни, но потому что еще никогда в жизни не спала без взрослых рядом. Его храп, пускай издали, все же успокаивал; временами храп прерывается кашлем, а следом недовольным хриплым ворчанием, словно кто-то толкнул дремлющего тигра. Во сне муж разговаривает, произнося больше слов, чем она слышала от него за все время здесь. Глядя, как муж дурачится с Дамодараном, который исчез так же таинственно, как появился, она понимает, что в нем много детской доверчивости и ребячливости. Но по-прежнему осмеливается заговорить с супругом, только чтобы сообщить, что ужин готов.

Несколько раз за день приходит Самуэль, спросить, не нужно ли ей чего, и бывает огорчен, если ничего не нужно. Она тронута его заботой.

— Самуэль, мне кое-что нужно.

— Оох-аах, все что угодно!

— Бумага, конверт и ручка, чтобы написать матери.

Нетерпеливая улыбка на его лице гаснет.

— Аах. — Он определенно раньше не имел дела ни с чем подобным. Но вновь удивляет ее, когда возвращается с рынка, гордо извлекая из мешка на голове конверты, бумагу и перо.

Моя дорогая Амма́чи^[36],

Пускай это письмо застанет тебя в добром здравии. Все это время Танкамма была со мной. Я справляюсь. Я научилась готовить некоторые блюда.

Вскоре после смерти отца мать утратила доступ на кухню; она сетовала, что до свадьбы так и не научила дочь готовить.

Сейчас остались только я и ДжоДжо. Он как моя тень. Без него, наверное, я бы гораздо больше скучала по тебе. Трудно с ним бывает, только когда я хочу его искупать.

В первый раз, когда она попыталась искупать мальчика, ДжоДжо начал драться. Но она все равно полила его водой сверху, и тут он побледнел, веки его задрожали, как крылышки мотылька, а глазные яблоки закатились. Она перепугалась, решив, что малыш сейчас забьется в припадке. И с тех пор больше никогда не лила воду прямо на голову, пользуясь влажной тряпкой, чтобы вымыть ему лицо и волосы. Но все равно это ежедневная битва. Сейчас она понимает, что между людьми Парамбиля и водами Траванкора идет война. Но не станет посвящать в это свою бедную мать. Может, мама уже и так знает?

Как бы мне стать хорошей хозяйкой, госпожой этого дома?

Жаль, что нельзя стереть последнее предложение, ведь ее мать больше не хозяйка и не госпожа дома. Мамины мытарства в общем семейном доме начались вскоре после того, как она овдовела, отношение ее зятьев и невесток сразу изменилось. Теперь мама спит на веранде, ее обижают и обращаются с ней как с прислугой. Меж тем у ее дочери в Парамбиле ни в чем нет нужды; ара ломится от зерна, а в сундуке не переводятся монеты.

Когда молюсь вечером, я говорю себе: «Моя Аммачи тоже сейчас молится». Так я чувствую, что мы рядом. Я очень сильно скучаю по тебе, но плачу только по ночам, когда ДжоДжо не видит. Жалко, что я не захватила с собой Библию. Здесь ее нет. Я понимаю, что Парамбиль далеко, но прошу тебя, Аммачи, приезжай ко мне. Хоть на несколько дней. Мой муж не любит путешествовать на лодке. Если ты не можешь, тогда я попробую приехать. Мне придется взять с собой ДжоДжо...

Она представляет, как мама читает письмо и слезы оставляют пятна на странице, так же как сейчас и ее собственные слезы. Воображает, как мама складывает письмо и прячет под подушку, а

потом хранит в узле вместе с остальными немногочисленными пожитками. А потом в ее фантазиях возникает рука — рука тетки, — которая роется в узле с вещами, пока мама купается. И потому она не спрашивает в письме, лучше ли питается сейчас мама, раз уж одним ртом стало меньше. В глубине души ей *хочется*, чтобы любопытные глаза прочли эти слова и в сердце своем осознали творящуюся несправедливость. Но маме от этого станет только хуже.

Ответ приходит через три недели — с аччаном, который совершал их брак и который каждые две недели ездит в управление диоцеза^[37] в Коттайам; там он отправляет и забирает письма, если они есть. Домой в Парамбиль почту приносит мальчишка. В своем письме мать осыпает ее любовью и поцелуями и говорит, как она гордится, представляя свою дочь в роли хозяйки дома благодаря наставлениям Танкаммы. В конце письма мать непривычно строго отговаривает ее от приезда в гости, никак не объясняя. И не отвечает на страстные призывы дочери навестить Парамбиль. Письмо поселяет в ней еще большую тревогу о матери.

Наставления Танкаммы разлетаются и путаются в голове, как распущенные косы. *На нижнем ярусе банановой грозди всегда четное число плодов, а над ним — нечетное.* Если кто-то попытается стянуть хоть один банан, Танкамма сразу узнает; чтобы скрыть преступление, придется оторвать по банану из каждого ряда, а это непременно обнаружится. Но, с другой стороны, а кому бы воровать? *Будь бдительна* — должно быть, в этом урок Танкаммы. Хотя этим утром она рассеянна. Не обращает внимания на настойчивое квохтанье пестрой курицы, на ее назойливые набеги в кухню, шугает ее прочь.

— Она собирается отложить яйцо, Аммачи! — сообщает ДжоДжо.

Неужели ДжоДжо назвал ее «Аммачи»? *Мамочка?* Грудь раздувается от гордости. Она обнимает мальчика.

— Что бы я без тебя делала, малыш?

Она подхватывает курицу и усаживает ее в мешок в чулане, потом накрывает ее перевернутой корзинкой. Курица возмущенно кудахчет из темноты.

— Прости. Я послушаю, когда ты закончишь, обещаю.

Гости бывают редко. Ей одиноко. Она грезит, как мать медленно идет от причала, неожиданно приехав навестить их; она так часто вызывает в воображении эту сцену, что начинает поглядывать в сторону реки по нескольку раз за день.

Но единственные гости, которых она встречала, это Джорджи и Долли из ближайшего к Парамбилю домишки с южной стороны. Они приходили к Танкамме, но только один раз. Джорджи — сын брата ее мужа, того самого, что лишил родных законного наследства. Их дом стоит на клочке земли в два акра, который ее муж выделил племяннику, потому что отец Джорджи в конце концов умер в нищете, оставив Джорджи и его брату только долги. *Коччамма*^[38] Долли ей сразу понравилась. (Поскольку Долли старше по крайней мере лет на пять, она обращается к ней «коччамма».) Долли — спокойная тихая женщина со светлой кожей и глазами лани; она не слишком разговорчива, а на лице ее выражение поистине ангельского терпения. Джорджи — живой, компанейский, удививший молодую хозяйку Парамбиля тем, что с радостью толчется в уютной кухне вместе с женщинами, чего ее муж никогда не делает. Интересно, почему ее муж благородно спас племянника, но почти не общается с ним. Самуэль говорит, что Джорджи не земледелец, не такой, как тамб'ран, но если брать ее мужа за образец, то с ним никто не сравнится. А может, Джорджи чувствует, что недостойн такого подарка от дяди.

ДжоДжо никогда не выпускает из виду свою «Аммачи», за исключением времени, когда та идет к ручью мыться или отправляется к реке поплескаться около причала, — она любит это занятие. ДжоДжо нетерпеливо ждет ее возвращения дома. Для самого ДжоДжо «купание» в любой форме остается полем ежедневного сражения. Она любит свой маленький бассейн, где ручей расширяется, образуя озерцо, и вода там настолько спокойна и прозрачна, что видно, как резвятся маленькие рыбешки, хотя там глубоко, она едва достает кончиками пальцев до дна. А на берегу в тени рамбутана, чьи мохнатые красные плоды свисают праздничными украшениями, примостилась покатая плита для стирки.

В Парамбиле невиданный урожай манго. Самуэль-пулайан и его помощники приносят корзину за корзиной, и в прихожей перед кухней

образуется целая гора. Даже после того, как раздавали мешками — пулайар, мастерам, родственникам, — все равно остается слишком много. Сладкий мясистый сорт, с оттенками желтого, оранжевого и розового, наполняет кухню фруктовым ароматом. Подбородок ДжоДжо воспалился и покраснел от постоянно капающего на него сока. Она измельчает фрукты, сколько хватает сил, на джемы и сиропы. Из оставшейся мякоти делает *téra* — мармелад из манго. Сначала варит мякоть с сахаром и поджаренной рисовой мукой. Потом раскладывает массу по плетеной циновке, длиной и шириной с целую дверь, и выставляет на солнце. Обязанность ДжоДжо — отгонять птиц и насекомых. Когда мякоть подсыхает, она добавляет еще слой, и еще, дожидаясь, пока высохнет предыдущий, пока пласт не станет толщиной в дюйм и можно разрезать его на тонкие полоски и свернуть. Она с трепетом наблюдала, как муж брал с собой рулончик тера после завтрака и обеда, чтобы пожевать во время работы.

Чтобы позабавить ДжоДжо, она разрезает незрелый манго, раскрывая его, как цветок лотоса, — прием, которому ее научила мать, — и посыпает его солью и порошком чили. ДжоДжо подбедает кисло-острое лакомство, а потом прыгает вокруг, шумно втягивая воздух через поджатые губы, рот его горит, но он просит еще.

Ара — центральное помещение без окон в старой части дома, сооруженное как крепость. Дверь, вырезанная из цельного куска дерева, в три раза толще обычных дверей и заперта на громадный замок, ключ от которого хранится у нее. Порог такой высокий (чтобы не высыпался хранящийся там рис), что ей приходится перелезать через него, хотя муж просто перешагивает. Внутри ноги тонут в зерне, достигающем до колен. Она отпирает ара по меньшей мере раз в неделю — достать деньги из сундука — и чуть реже, чтобы взять немного риса или, наоборот, положить его туда. Из смежной нежилой спальни маленькая лесенка ведет в темный, затхлый погреб, где в высоких фарфоровых горшках она хранит свои заготовки. Сквозь вентиляционную решетку, вырезанную в дереве, пробиваются еле заметные лучики света. В каждом доме есть свои призраки, комнатные и дворовые, и с теми, что живут в Парамбиле, она все еще не знакома. С тем, кто поселился в погребе, она решается заговорить, потому что у нее есть причины подозревать, что он жуткий сладкоежка. Она чувствует, что призрак прячется в углу, за паутиной, — нежный, печальный и,

кажется, напуганный дух; он больше опасается ее, чем она его. «Бери все что захочешь. Я не против, только потом плотно закрывай крышку», — говорит она, храбро стоя прямо перед ним. Она собиралась добавить: *«Пожалуйста, не надо меня пугать»*, но тут донесся требовательный голосок ДжоДжо:

— Аммачи? Ты где? Когда играешь в прятки, ты должна прятаться так, чтобы я тебя видел, иначе нечестно!

Она невольно хихикает. Внезапное движение воздуха в спертой духоте погреба говорит ей, что призрак тоже смеется. И только выбравшись наверх, она задумывается, а не может ли этот дух быть духом покойной матери ДжоДжо.

Когда приходит муссон и разверзаются небеса, ее охватывает безудержный восторг. В отцовском доме они с двоюродной сестрой умащали маслом волосы и выскакивали под ливень, прихватив мыло и кокосовые скребки, наслаждаясь божественным водопадом. Они ждали муссона, как ждут Рождества; это время очищения души и тела. Вода смывает пыль и засохшие хитиновые чешуйки насекомых, налипшие на стебли, оставляя сияющие чистотой листья. Без муссона эта земля, чье знамя — зелень и чья монета — вода, прекратила бы существование. Когда люди ворчат про наводнения, про обострения подагры и ревматизма, они делают это с улыбкой.

Дождь никогда никого не останавливает. Ее зонтик превращается в нимб, сопровождающий ее повсюду вне дома, а босые ноги радостно чавкают по лужам. Самуэль мастерит шляпу из пальмовой коры, защищая голову от воды. Но мужа дождь почему-то удерживает в заточении дома, и это ставит ее в тупик. Ей не хватает смелости разузнать, в чем тут дело. Она постепенно привыкает, что он часами, а порой и весь день напролет сидит на веранде, словно притихший наказанный ребенок, сердито глядя на тучи, словно может убедить их сменить курс. Компанию ему составляет ДжоДжо, потому что ДжоДжо ведет себя точно так же. Однажды внезапный дождевой шквал застал мужа врасплох, когда он без зонтика подходил к дому; при первых каплях он зашатался, ноги его подкосились, и он еле доковылял до укрытия, словно с неба падали камни, а не вода. А еще как-то вечером она видит, как он сидит возле колодца, намыливает поочередно маленькие участки тела и смывает пену. Он не замечает ее, она хочет

убежать, но вид его тела завораживает. Она в смятении, так много чувств одновременно: неловкость, что подглядывает за ним; с трудом сдерживаемое веселье; смущение, как будто это она голая, и восхищение видом мужа, полностью обнаженного. Никогда еще он не казался таким могучим и грозным, пускай и выглядит в этом частичном купании совсем по-детски. В его скупом омовении есть и привычная непринужденность, и даже изящество, но вот чего точно нет в его движениях, так это удовольствия.

Каждое утро, когда она раздувает угли в очаге, кухня приветствует ее, как сестру, от которой нет секретов, и она счастлива. Она пришла к выводу, что причиной тому благожелательное присутствие матери ДжоДжо. Погреб, наверное, и любимое убежище духа, и место, где невидимое подступает так близко, что может обретать физические формы, но дух прилетает и сюда, влекомый потрескиванием дров в очаге или голосом ее ребенка, болтающего с новой Аммачи. Иначе с чего бы блюда, которые готовит молодая жена, становились вкуснее, чем она смела рассчитывать, ведь все рецепты Танкаммы спутались и превратились в кашу в ее голове? Не в одних же старых глиняных горшках дело. Нет, это ей награда за то, что с любовью заботится о ДжоДжо. Она чувствует себя единым целым с этим домом и чувствует, что все делает правильно.

глава 6

Супруги

1903, Парамбиль

За три года, что прошли с ее приезда, она превратила крытый переход перед кухней в свое личное пространство, у нее здесь стоит веревочная койка, где они с ДжоДжо спят после обеда и где она учит грамоте пятилетнего малыша. Ей удобно отсюда присматривать и за горшками на огне, и за рисом, который сушится на циновках в муттаме. Пока ДжоДжо спит, она сидит рядом на кровати, перечитывая единственное в доме печатное произведение — старый номер «Манорамы». Она не может заставить себя выбросить газету. Тогда вообще ничего не останется, ни единого слова, на котором можно отдохнуть глазу. Ей надоело бранить себя, что не захватила в Парамбиль Библию, и она обратила раздражение на мать ДжоДжо. Для христианского дома просто немыслимо не иметь Слова Божьего.

ДжоДжо начинает ворочаться, как раз когда она замечает Самуэля, возвращающегося с рынка с покупками, с большим мешком на голове. Он опускается на корточки рядом с ней, опустошает мешок и аккуратно складывает его.

Самуэль вытирает лицо тхортом, взгляд его падает на газету.

— Что пишут? — интересуется он, собирая тхорт в складки и расправляя на плече.

— Ты что думаешь, с тех пор как я читала ее тебе в прошлый раз, Самуэль, в газету просочились какие-то новости?

— Аах, аах, — вздыхает он. Седеющие брови нависают над глазами, которые совсем как у ребенка, не могут скрыть разочарования.

На следующей неделе, когда Самуэль возвращается из магазина и вынимает покупки, он, в своей обычной манере, перечисляет:

— Спички. Второе — кокосовое масло. Третье — горькая тыква. Чеснок, четвертое. «Малаяла Манорама». — И кладет газету, как будто это очередной овощ. И не скрывает удовольствия, когда она хватает

газету и, ликуя, прижимает к груди. — Будет каждую неделю, — сообщает он, гордясь, что сумел порадовать хозяйку.

Она знает, что только муж мог отдать такое распоряжение.

Позже тем же утром она замечает мужа неподалеку от дома, но в десяти футах над землей; он сидит в развилке *плáву*, хлебного дерева, прижавшись спиной к стволу, с зубочисткой в углу рта, ноги его вытянуты вдоль ветки. Ей хочется взмахнуть газетой, показать мужу, как она благодарна. Она до сих пор удивляется, что он предпочитает эти высокие насесты, вместо того чтобы точно так же вытянуть ноги в своем длинном чару касера — его персональное кресло поражало размерами, потому что было сделано по его мерке, но оно все равно стояло на веранде незанятым. Она внимательно разглядывает мужа снизу, в профиль он красивый, решает она. Пулайан, которого ей не видно, снизу говорит что-то, заставляющее мужа вынуть зубочистку и улыбнуться, демонстрируя ровные крепкие зубы. *Тебе нужно улыбаться почаще*, думает она. Муж зевает, потягивается, устраивается поудобнее, и в животе у нее холодеет. Падение даже с такой высоты стало бы сокрушительным. Всякий раз, замечая его высоко на каком-нибудь дереве, где он кажется всего лишь странной шишкой на гладком стволе, она не может спокойно смотреть. Самуэль говорит, что с такой выгодной позиции он изучает свою землю, планирует, в каком направлении прокладывать каналы, где распахивать новые поля.

Вечерами, подав ужин мужу, она читает ему вслух «Манораму», пока он ест. Сам он никогда не берет газету в руки. Газета скрашивает ее дни, но не избавляет от глубочайшего одиночества, в котором ей совестно признаться. Танкамма, которая обещала вернуться, пишет, что ее муж заболел и прикован к постели, так что ей пришлось отложить поездку на неопределенное время. А что касается мамы, миновали уже три муссона, а они с ней так и не виделись! Мама не велит ей приезжать. Даже если бы она и хотела, молодая женщина не должна путешествовать одна. ДжоДжо, который висит на ней, как браслет, даже близко не подойдет к причалу, не говоря уж о том, чтобы залезть в лодку. И, как она подозревает, ее муж тоже.

Закончив обычные вечерние молитвы, она беседует с Господом. «Я так рада, что есть газета. Муж заботится о моих потребностях, это

видно. Может, мне следует упомянуть и о других нуждах? Нет, я не жалуюсь, но если это христианский дом, почему мы не ходим в церковь? Я знаю, Ты это уже слышал раньше. Если бы мама могла приехать, я бы Тебя не беспокоила. Такие вещи я могла бы обсудить с ней».

Возможно, в ответ на ее неустанные молитвы, после долгих месяцев молчания наконец приходит письмо от матери. Самуэль по пути на мельницу заходит в церковь и на этот раз возвращается, взволнованно держа письмо обеими руками, потому что знает, какая это ценность; его восторг почти сравним с ее радостью.

Моя дорогая доченька, сокровище мое, как же мне согревают сердце твои письма. Ты не представляешь, сколько раз я целую их. Твоя сестра Биджи выходит замуж. Я каждый день хожу в церковь. Навещаю могилу твоего отца и молюсь о тебе. Лучшие воспоминания моей жизни связаны с ним и с тобой. Я хочу сказать, пожалуйста, дорожи каждым днем, проведенным в браке. Быть женой, заботиться о муже, растить детей — что может быть ценнее этого? Вспоминай меня в своих молитвах.

В последующие дни она то и дело достает мамино письмо, всякий раз целуя его, как святыню. И сколько бы раз она его ни перечитывала, тревога не становится меньше. Она не желает смириться с правилами этой жизни: выходя замуж, женщина навеки оставляет дом своего детства, а судьба вдовы — навеки оставаться в доме, куда она вышла замуж.

Календарь на стене — вкладыш из газеты — похож на математическую таблицу и астрономическую карту. Каждый день он показывает фазы луны, время, неблагоприятное для начала путешествия. А сейчас календарь сообщает, что начинается пост, пятидесятидневный период воздержания, ведущий к Страстной пятнице. Она откажется от мяса, рыбы, молока, а в первый день вообще не съест ни крошки пищи.

Когда вечером муж садится ужинать, она кладет на стол свежий банановый лист и ставит воду с кумином — джира. Он разглаживает лист. Она готовится произнести слова, которые репетировала. Но едва открывает рот, чтобы заговорить, муж ударом кулака раздавливает

стебель листа, расправляя — *Трах! Трах!* — и пугая ее. Он выплескивает чай-джира на зеленую сверкающую поверхность, смахивает остатки в сторону муттама. Момент упущен. Она тихо подает рис, чатни, йогурт... потом подходит с мясом — проверить, откажется ли он в первый день поста. Но нет, он жадно ест. С чего она решила, что в этом году будет иначе, чем все предыдущие годы?

В дни, которые следуют за первым, ни мясо, ни рыба не касаются ее уст; она тоскует по обществу домочадцев, которые постятся вместе, но одиночество только укрепляет ее решимость.

— Тебе нужно больше есть, — говорит Самуэль примерно в середине поста. — Ты слишком исхудала. — Самуэлю не пристало так говорить, это дерзость с его стороны. — Это тамб'ран говорит. Он беспокоится.

Молодая жена чувствует себя, как люди, объявившие голодовку, про которых написано в газете, как они устроились лагерем около здания Правительства — умалиться, дабы стать заметными.

— Если тамб'ран так думает, он мог и сам мне сказать.

Тем вечером она откладывает молитвы и возится с разными другими делами. В конце концов, уже готовясь засыпать, она покрывает голову и становится лицом к распятию на восточной стене спальни, поскольку, согласно традиции, Мессия придет в Иерусалим с востока. Ни молитвы, ни слова благодарности не рождаются в сердце. Неужели Господь не чувствует ее разочарования? Наконец она произносит: «Господи, я не буду больше просить. Ты видишь препятствия на моем пути. Если Ты хочешь, чтобы я осталась в церкви, Ты должен помочь. Вот все, что я могу сказать. Аминь».

Танкамма говорила, что если хочешь получить что-то от мужа, секрет прост — надо загадать желание, пока готовишь халву. Но путь открывает не халва, а ее *эрэки олартхи́рту*^[39]. Она начинает готовить блюдо утром: обжаривает и потом растирает в ступке кориандр, семена фенхеля, перец, гвоздику, кардамон, корицу и звездочки аниса и втирает эту сухую смесь в кусочки баранины, чтобы замариновать. Днем она обжаривает лук со свежим натертым кокосом, зернами горчицы, имбирем, чесноком, зеленым чили, куркумой и листьями карри, добавляет еще немножко сухих специй, а потом мясо. Она гасит огонь, чтобы только угли тлели, не закрывает горшок, чтобы соус

загустел и каждый кусочек мяса обволокло плотной темной подливкой. Вечером, отправив ДжоДжо сказать отцу, что «*чóру вила́мби*» — *рис готов*, она завершает приготовление блюда, еще раз обжарив мясо в кокосовом масле со свежими листьями карри и кубиками кокосовой мякоти. Она подает его обжигающе горячим, шипящим, масло еще брызжет с зарумяненной мясной корочки. Она еще выкладывает еду на банановый лист, а муж уже сует кусок в рот. Не может удержаться.

Она тихо стоит в сторонке, пока он ест, но ближе, чем обычно. За последние несколько вечеров она уже прочла ему всю газету, и теперь нужно дожидаться нового номера. Господь внезапно дарует ей силы заговорить.

— Мясо вкусное? — спрашивает она. И сама знает, что блюдо получилось как никогда.

Слова льются изо рта, как вода из длинного носика *кíнди* [\[40\]](#), и она видит, как они наполняют чаши его ушей. Как будто смотрит со стороны, как будто кто-то другой говорит, а не она.

И когда она уже решила, что муж раздражен ее дерзостью, большая голова вдруг качнулась из стороны в сторону в знак одобрения. От радости, волной поднявшейся внутри, хочется хлопать в ладоши и танцевать. В кои-то веки он остается сидеть, закончив трапезу, не вскакивает мыть руки под струей из кинди.

Интересно, он слышит, как колотится ее сердце?

ДжоДжо, подглядывающий за ними из-за столба, потрясен тем, что она разговаривает с его отцом.

— Аммачи, — громко шепчет он. — Не рассказывай ему! Обещаю, я завтра помоюсь.

Она быстро прижимает ладонь ко рту, но не успевает сдержать смехок.

Следует жуткая пауза, а потом как будто раздается непонятный взрыв — муж хохочет, оглушительно громко и весело. ДжоДжо озадаченно выбирается из укрытия. Когда малыш понимает, что смеются над ним, он подбегает, шлепает ее по бедру, сердито плачет и убегает, прежде чем она успевает его схватить. Это лишь еще больше веселит мужа, и он, гогоча, откидывается на спинку кресла. Смех преображает его, открывая прежде невидимые ей стороны.

Он вытирает ладонью глаза, все еще улыбаясь.

Слова потоком льются из нее. Она рассказывает, что когда сегодня ДжоДжо пришло время мыться, она обыскалась его везде и нашла в итоге на хлебном дереве, малыш застрял там, на этой плаву. Муж все еще сияет улыбкой. Она продолжает: ДжоДжо учит буквы и цифры, но только если подкупить его лакомством — манго с порошком чили. А сама она предпочитает бананы того сорта, который сегодня принес Самуэль... Она слышит свой щебет со стороны и умолкает. Тишину заполняет стрекот сверчков, а потом к хору присоединяется и лягушка-бык.

А потом муж задает вопрос, который должен был прозвучать давным-давно: *Сугхамано? Тебе здесь хорошо?* И смотрит на нее в упор. Впервые с тех пор, как стоял перед ней в церкви почти три года назад, он рассматривает ее так пристально.

Она старается выдержать взгляд, в его глазах все та же могучая сила, что и тогда у церковного алтаря. Она припоминает строку из свадебной службы: *Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви*^[41].

И вдруг понимает, почему со дня их свадьбы он держался на расстоянии, мало говорил, но издалека заботился о ней, о том, чтобы она получала все, что захочет, чтобы ей было удобно и спокойно; это вовсе не равнодушие, а ровно наоборот. Он понимает, что она может бояться его.

Она опускает взгляд. Способность говорить улетучивается. Но ей задали вопрос. Он ждет.

Ноги слабеют. Ей отчего-то хочется броситься к нему, погладить пальцами эти узловатые руки. Это жажда любви, близости, человеческого прикосновения. Дома ее постоянно обнимали и целовали, тело матери согревало ее по ночам. Здесь, если бы не ДжоДжо, она бы совсем зачахла.

Она слышит, как скрипнуло кресло, муж отчаялся услышать ответ. И тихо произносит:

— Я скучаю по маме.

Он приподнимает бровь, как будто не уверен, не почудились ли ему эти слова.

— И было бы неплохо ходить в церковь, — неестественно громко добавляет она.

Он, кажется, обдумывает эту мысль. Потом оmyвает руки из кинди, выходит в муттам и удаляется. Сердце ее сжимается. *Какая глупость, глупость просить так много!*

Позже вечером, когда ДжоДжо засыпает, она возвращается в кухню прибраться и прикрыть угли кокосовой скорлупой, чтобы до утра они не погасли окончательно. Потом с тяжелым сердцем идет к себе в комнату, где они спят вместе с ДжоДжо.

И, оторопев, видит на полу открытый металлический сундук. Стопка аккуратно сложенной белой одежды, должно быть, принадлежала матери ДжоДжо. С собой в Парамбиль она привезла только свадебные чатта и мунду и еще три комплекта одежды, все ослепительно белые, традиционный наряд христианок Святого Фомы. Цветастые полусари и юбки остались в детстве. Ее старые чатта стали тесны в плечах и слегка подчеркивают набухающую грудь, тогда как бесформенная одежда должна намекать, что там вообще ничего нет. И потому она уже привыкла носить мешковатые и потрепанные чатта и мунду, забытые Танкаммой. Но чатта из сундука, которые, наверное, остались от матери ДжоДжо, сидели идеально. Она разглядывает себя в зеркале. Ее тело меняется, она стала выше ростом и прибавила в весе. Больше года назад у нее начались кровотечения. Она перепугалась, хотя мать и предупреждала, что такое случится. Она заваривала себе имбирный чай от спазмов и смастерила специальные менструальные подкладки, припоминая, как видела такие дома, сохнувшие на бельевых веревках. Когда она развешивала сушиться свои выстиранные тряпки, то прикрывала их полотенцами и простынями. Четыре дня она чувствовала себя неважно, стала совсем рассеянной, но старалась держать себя в руках. Ей некому было пожаловаться и не с кем отпраздновать, если уж на то пошло. Даже сейчас эти четыре-пять дней остаются большим испытанием.

На самом дне сундука она находит Библию. *Все это время у тебя была Библия — и ты мне не говорил?* Она слишком взволнована находкой, чтобы долго сердиться, но решает упомянуть о ней в следующий раз, когда соберется в погреб.

Когда наступает воскресенье, она с удивлением обнаруживает мужа в белой джуба и мунду — его свадебном наряде. Она так

привыкла видеть его с обнаженной грудью и в подоткнутом мунду, с тхортом, перекинутым через левое плечо, — неотличимым от пулайар, которые на него работают. Среди работников муж выделялся только ростом и статью — верный признак, что он вырос в доме, где еды было в достатке. Он обращается к Самуэлю:

— Попроси Сару побыть с ДжоДжо, пока мы не вернемся из церкви.

Она мчится одеваться:

— Господь, как только окажусь в Твоем доме, поблагодарю Тебя как следует.

Они отправляются в путь по суше, в направлении, противоположном причалу. Вцепившись в Библию, она торопливо семенит за ним, делая два своих шага на каждый его. Она исполнена ликования и почти летит, едва касаясь ногами земли. Вскоре они добираются до ручья, через который переброшено бревно, скользкое от мха.

— Иди вперед, — велит муж, и она стремглав проносится над водой.

Он осторожно перебирается следом, крепко стиснув зубы. На другом берегу он задерживается, кладет ладонь на камень для поклажи, словно собираясь с духом, прежде чем идти дальше. Пешком они добираются до церкви гораздо дольше, чем плыли бы на лодке, в конце пути переходят реку по мосту, достаточно широкому для повозок.

Вид людей, стекающих к церкви, вызывает восторженный трепет, хотя она никого здесь не знает.

— Я подожду там, — машет он рукой в сторону раскидистого *níinpal*^[42], воздушные корни которого гигантскими усами нависают над церковным кладбищем. Сгорая от нетерпения, она спешит в церковь, натянув кавани на голову. Она и забыла, каково это, когда на службе столько народу, когда совсем рядом чувствуешь других людей; каково это — быть частью ткани, а не ниточкой, выдернутой из целого.

Мужчины слева, женщины справа, их разделяет воображаемая линия. Она наслаждается знакомыми фразами евхаристии. Когда аччан воздевает воздúх над Дарами, она ощущает присутствие Господа, чувствует, как Дух Святой нисходит на нее, волна за волной, как